

Мишель Фуко



Психиатрическая власть

Курс лекций,
прочитанный
в Коллеж де Франс
в 1973/74
учебном году

18+

Ad Marginem



Мишель Фуко

Психиатрическая власть. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1973/74 учебном году

«Ад Маргинем Пресс»

1973-1974

УДК 82-5+1(616.89)
ББК 87+56.14

Фуко М.

Психиатрическая власть. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1973/74 учебном году / М. Фуко — «Ад Маргинем Пресс», 1973-1974

ISBN 978-5-908105-65-1

Курс лекций «Психиатрическая власть» (1973/74) отражает и обосновывает поворот в мысли Мишеля Фуко от анализа представлений, эпистем, институтов к исследованию отношений власти, которые действуют на всех уровнях общества вплоть до индивидуального тела. На материале намеченной уже в «Истории безумия» ранней истории психиатрии философ показывает, как дисциплинарная власть, постепенно вытесняя прежнюю, характерную для монархического правления власть-суверенитет, определяет, с одной стороны, устройство и функционирование психиатрической лечебницы, отношения между врачом и больным, характер психиатрического знания, а с другой — задает на эпистемологическом уровне вектор развития общественных наук в целом. Смещая фокус на власть, Фуко смыкает исторический анализ с современностью: одна из задач, которую он ставил перед собой в этом курсе, — охарактеризовать сильные и слабые места сопротивления психиатрической власти и наметить пути, которые могли бы сделать это сопротивление эффективным. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-5+1(616.89)
ББК 87+56.14

ISBN 978-5-908105-65-1

© Фуко М., 1973-1974

© Ад Маргинем Пресс, 1973-1974

Содержание

Принципы переиздания лекционных курсов Мишеля Фуко в Коллеж де Франс	7
Вместо предисловия	8
Лекция 7 ноября 1973 года	11
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Мишель Фуко
Психиатрическая власть Курс
лекций, прочитанный в Коллеж
де Франс в 1973/74 учебном году

Michel Foucault

Le pouvoir psychiatrique Cours au Collège de France (1973–1974)

Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Jacques Lagrange et revue par Elisabetta Basso pour la présente édition

Gallimard / Seuil

Издание подготовлено Жаком Лагранжем под общей редакцией Франсуа Эвальда и Алес-
сандро Фонтаны; в 2023 году обновлено под редакцией Элизабетты Бассо

Переводчик *Алексей Шестаков*

Ad Marginem **masters**

© Éditions Gallimard / Seuil, 2003

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Принципы переиздания лекционных курсов Мишеля Фуко в Коллеж де Франс

Новое издание лекционных курсов Мишеля Фуко в Коллеж де Франс подчиняется следующим принципам.

1. Текст оригинальных изданий воспроизводится полностью, но с некоторыми уточнениями, основанными на его повторной сверке с расшифровками аудиозаписей и подготовительными рукописями автора.

2. Иногда лекции, фактически прочитанные Фуко, существенно отличаются от подготовительных рукописей к ним, и в ходе подготовки первого издания тринадцати его курсов в Коллеж де Франс, осуществленного в период с 1997 года (когда вышел в свет первый том цикла – «Нужно защищать общество») по 2015 год (когда был опубликован последний том – «Уголовные теории и институты»), тактика использования издателями рукописей претерпела большие изменения. Если в первых томах фрагменты рукописей, расходящиеся с прочитанным текстом или его проясняющие, приводятся нечасто, в последних томах они в большинстве своем фигурируют в примечаниях.

Значительно расширился и критический аппарат последних томов.

Настоящее издание призвано внести в цикл единообразие: дополнить текст первых опубликованных курсов и тем самым довести их до уровня последних.

3. Также мы постарались упростить и привести к единству справочный аппарат, в частности предметные указатели томов.

Элизабетта Бассо

Вместо предисловия

Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 года и до своей кончины в июне 1984 года, за исключением 1977 года, когда он воспользовался годичным отпуском, полагающимся каждому профессору раз в семь лет. Его кафедра носила название «История систем мысли».

Она была создана 30 ноября 1969 года по инициативе Жюля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс взамен кафедры «История философской мысли», которой руководил до своей смерти Жан Ипполит. 12 марта 1970 года то же общее собрание избрало Фуко на должность профессора новой кафедры¹. Ему было сорок три года.

Второго декабря 1970 года он прочел свою инаугурационную лекцию².

Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. Каждый профессор обязан отработать двадцать шесть учебных часов, не более половины из которых могут составлять семинарские занятия³. Ежегодно он должен выносить на суд слушателей оригинальное исследование, в связи с чем содержание курсов меняется год от года. Все лекции и семинары открыты для посещения; не нужно ни записываться на курсы, ни писать итоговую письменную работу. Профессор не волен лишать кого-либо права присутствовать на своих лекциях⁴. В уставе Коллеж де Франс сказано, что профессора в нем имеют дело не со студентами, а со слушателями.

Лекции Фуко читались по средам с начала января до конца марта каждого учебного года. Аудитория, весьма многочисленная, состояла из студентов и преподавателей, исследователей и просто интересующихся, среди которых было немало иностранцев. Слушатели занимали сразу два амфитеатра Коллеж де Франс. Фуко часто сетовал в связи с этим на дистанцию, разделявшую его и «публику», а также на то, что лекционная форма курса ограничивает возможности общения⁵. Он мечтал о семинаре, в котором шла бы подлинная совместная работа. В последние годы по окончании лекций он посвящал значительное время ответам на вопросы слушателей.

Вот как описал в 1975 году царившую на этих лекциях атмосферу корреспондент журнала *Nouvel Observateur* Жерар Петижан: «Фуко выходит на арену быстро и целеустремленно, он, словно ныряльщик, рассекает толпу, пробирается к своему стулу, раздвигает магнитофоны, чтобы разложить записи, снимает пиджак, включает настольную лампу и немедленно начинает. Его сильный, внушительный голос распространяют микрофоны – единственная уступка современности в этом зале, который слабо озаряет свет, струящийся из стуктовых плафонов. На триста мест приходится пятьсот прижавшихся друг к другу слушателей, довольствующихся

¹ Фуко завершил брошюру, составленную перед голосованием для ознакомления профессоров, следующей формулой: «Нужно заняться историей систем мысли» (см.: *Foucault M. Titres et travaux* // M. Foucault. Dits et Écrits, 1954–1988. 4 vol. / éd. par D. Defert & F. Ewald, collab. J. Lagrange. Paris: Gallimard, 1994. 4 vol. 1: 1954–1969. P. 846; далее это издание обозначается как DE, том, страницы).

² Она была опубликована издательством Gallimard в мае 1971 года под названием «Порядок дискурса» (рус. пер.: *Фуко М. Порядок дискурса* / пер. С. Табачниковой // М. Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 47–96).

³ Мишель Фуко вел семинар вплоть до начала 1980-х годов.

⁴ Это правило действует только внутри Коллеж де Франс.

⁵ В 1976 году, в надежде – тщетной – сократить число слушателей, Мишель Фуко изменил время начала лекций с 17:45 на 9:30. Ср. начало первой лекции (7 января 1976 года) курса «Нужно защищать общество» (*Foucault M. «Il faut défendre la société»*. Cours au Collège de France (1975–1976) / éd. par M. Bertani & A. Fontana. Paris: Gallimard; Seuil, 1997; рус. пер.: *Фуко М. «Нужно защищать общество»*: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975/76 учебном году / пер. Е. Самарской. СПб.: Наука, 2005. С. 23).

малейшим свободным участком. <..> Ни тени ораторских эффектов. Всё ясно и очень убедительно. Никаких уступок импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы объяснить в ходе публичных лекций смысл работы, проделанной им за последний год. Поэтому он до предела уплотняет речь, словно продолжая письмо на полях, когда лист исписан, а сказать еще нужно очень много. Четверть восьмого. Фуко умолкает. Слушатели устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, а для того, чтобы остановить магнитофонную запись. Никаких вопросов. Фуко совсем один в этой толпе». А вот комментарий самого Фуко: «Нужно было бы обсудить сказанное. Подчас, когда лекция не удалась, может хватить пустяка, одного вопроса, чтобы всё расставить по местам. Но этот вопрос никогда не звучит. Во Франции общение с группой делает разговор по существу невозможным, и в отсутствие обратной связи преподавание превращается в театр. Я словно актер или акробат перед этими людьми. И когда я прекращаю говорить, приходит ощущение тотального одиночества...»⁶

Фуко подходил к своему преподаванию как исследователь: лекции служили разработками для будущей книги, распашкой новых территорий проблем, которые формулировались почти как вызов, бросаемый возможным коллегам. Поэтому и получилось, что курсы в Коллеж де Франс не дублируют опубликованные книги. И не являются наброском предстоящих книг, даже если темы их иногда совпадают. Лекции имеют собственный статус. Они выделяются среди «философских актов» Фуко особым дискурсивным режимом. Он совершенно по-особенному развивает в них проект генеалогии взаимоотношений знания и власти, сообразно которому с начала 1970-х годов – после отхода от предшествующего проекта археологии дискурсивных формаций – строилась его работа⁷.

Кроме того, лекции Фуко всегда были связаны с современностью. Конечно, его слушателей увлекало повествование, выстраивавшееся неделя за неделей, они восхищались стройностью изложения, но вместе с тем и замечали свет, проливаемый им на сегодняшний день. Искусство Фуко заключалось в пересечении современности – историей. Он мог говорить о Ницше или Аристотеле, о психиатрической экспертизе XIX века или христианском пастырстве, и слушатели всегда улавливали в его словах связь с настоящим, с теми событиями, которые происходили рядом с ними. Присущее только Фуко лекторское дарование было связано именно с этим переплетением ученой эрудиции, личной причастности и работы над событием.

* * *

На 1970-е годы пришлось распространение и совершенствование кассетных магнитофонов; стол Фуко был буквально заставлен ими. Так сохранились его лекции и некоторые семинары.

Настоящее издание призвано как можно точнее воспроизвести живую речь Фуко⁸. Мы приложили все усилия к тому, чтобы представить ее в неприкосновенности. Однако перевод устной речи в письменный вид подразумевает вмешательство редактора: как минимум нужно ввести пунктуацию и деление на абзацы. Тем не менее мы старались не отступать от принципа максимальной верности произнесенному тексту.

Когда это казалось нам необходимым, мы устраняли повторы и оговорки, восполняли прерванные фразы и подправляли некорректные конструкции.

⁶ Petitjean G. Les Grands Prêtres de l'université française // Le Nouvel Observateur. 7 avril 1975.

⁷ См., напр.: Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire // DE. II. P. 137.

⁸ Использовались главным образом записи, осуществленные Жераром Бюрле и Жаком Лагранжем, хранящиеся ныне в Коллеж де Франс и в ИМЕС (Институт наследия современного книгоиздания, Сен-Жермен-ла-Бланш-Эрб).

Многоточия в угловых скобках обозначают неразборчивые фрагменты записи. Когда содержание фразы непонятно, в квадратных скобках приводится предположительное уточнение или дополнение.

В примечаниях внизу страницы, обозначенных жирными точками, приведены некоторые расходящиеся с магнитофонной записью выдержки из подготовительных рукописей Фуко.

Цитаты были проверены, и в примечаниях мы дали ссылки на использованные тексты. Критический аппарат призван прояснить темные места, разъяснить некоторые аллюзии и уточнить спорные детали.

Для удобства читателя каждая лекция предварена кратким резюме, в котором указаны ее основные темы⁹.

Текст лекционного курса дополняет его «Краткое содержание», ранее опубликованное в «Ежегоднике Коллеж де Франс». Такие резюме Мишель Фуко обычно составлял в июне, вскоре после окончания своего курса. Они позволяли ему уточнить свои цели и задачи, оглянувшись на сделанное, и теперь дают о них наилучшее представление.

Каждый том завершается обзорной статьей редакторов данного лекционного курса: в ней приводятся элементы биографического, идеологического и политического контекста лекций каждого года, кратко очерчивается их связь с опубликованными книгами Фуко и положение курса в его творчестве – с тем чтобы облегчить понимание и отвести недоразумения, связанные с незнанием обстоятельств, в каких каждый курс готовился и читался.

* * *

Публикация курсов Фуко в Коллеж де Франс открывает новую перспективу на его мысль.

Строго говоря, речь не идет о неизвестных текстах, так как издание воспроизводит публичные лекции; по-настоящему неопубликованными оставались лишь подготовительные рукописи Фуко, часто весьма обстоятельные. Даниэль Дефер, владеющий ныне архивом философа, позволил редакторам ознакомиться с ними, за что мы ему глубоко признательны.

Настоящее издание лекций, прочитанных в Коллеж де Франс, осуществлено с разрешения наследников Мишеля Фуко, которые любезно согласились удовлетворить живейшую потребность в нем, проявленную как во Франции, так и в других странах. Их условием была тщательность подготовки текста. Редакторы стремились оправдать оказанное им доверие.

*Франсуа Эвальд, Алессандро Фонтана*¹⁰

⁹ В конце книги, в «Контексте курса», можно ознакомиться с критериями, принятыми редакторами применительно к данному курсу, и с некоторыми характерными именно для него решениями.

¹⁰ Алессандро Фонтана умер 17 февраля 2013 года, не дождаввшись завершения публикации курсов Мишеля Фуко в Коллеж де Франс, предпринятой в том числе и по его инициативе. Стараясь сохранить тот стиль и ту степень основательности, которые он сумел придать томам этого цикла, мы и далее упоминаем его имя в качестве одного из их соредкторов. – Ф. Э.

Лекция 7 ноября 1973 года

Пространство лечебницы и дисциплинарный порядок. – Терапевтическая деятельность и «нравственное лечение». – Сцены исцеления. – Изменения, вводимые в настоящем курсе по сравнению с «Историей безумия»: 1) от анализа «представлений» к «аналитике власти»; 2) от «насилия» к «микрофизике власти»; 3) от «институциональных закономерностей» к «дис-позитивам» власти.

Предметом, о котором я хотел бы поговорить с вами в этом году, будет психиатрическая власть – феномен, несколько расходящийся с тематикой двух моих предшествующих курсов, однако по-своему связанный с нею.

Прежде всего я попытаюсь представить вам своего рода воображаемую сцену в следующих декорациях – вы сразу узнаете их, они хорошо вам знакомы:

«Желательно, чтобы эти лечебницы строились в священных лесах, в местах уединенных и неприступных, среди суровой и сотрясаемой катаклизмами природы, как, например, Гранд-Шартрёз и т. п. Будет небесполезным, если вновь поступающему туда придется преодолевать окрестности в специальных машинах, видеть по пути к месту назначения новые и удивительные для него ландшафты, а также тамошних чиновников, одетых в необычные костюмы. В данном случае уместна романтика, и я часто возвращаюсь к мысли о том, что подходящими были бы старые замки, за которыми скрываются пещеры, пронизывающие возвышенность от края и до края <...>. Фантазия и всякого рода физические возможности, музыка, водопады, молнии и громы, если использовать всё это поочередно, наверняка окажут благотворное влияние на большинство людей».

* * *

Этот замок – совсем не тот, в котором могли разворачиваться «Сто двадцать дней», это замок, где должны были протекать дни гораздо более многочисленные, едва ли не бесконечные: ведь перед вами описание идеальной лечебницы, данное Фодере в 1817 году. Что же происходит среди подобных декораций? Разумеется, там царит порядок, там царит закон, там царит власть. В этих декорациях – в этом замке под защитой романтического альпийского реквизи-та, проникнуть в который можно лишь с помощью сложных машин и сам внешний вид которого должен вселять изумление в души большинства людей, – царит прежде всего порядок в простейшем смысле непрерывной, постоянной регуляции времени, деятельности, поступков; порядок, который окружает тела, вторгается в них, пронизывает их, вплотную прислоняется к их поверхности и вместе с тем прокрадывается даже в нервную систему и то, что другой автор назвал «мягкими волокнами мозга». Итак, порядок, для которого тела суть проницаемые поверхности и подлежащие обработке объемы; порядок, представляющий собой своего рода огромный каркас предписаний; порядок, которым тела заражены, словно инфекцией.

«Не стоит удивляться, – пишет Пинель, – огромному значению, которое я придаю поддержанию в лечебнице для сумасшедших спокойствия и порядка, а также физическим и духовным качествам, необходимым для такого рода надзора, ибо во всём этом состоит одна из фундаментальных основ лечения мании, без которой врач не сможет добиться ни точных наблюдений, ни устойчивого выздоровления больных, сколь бы ни полагался он на самые превозносимые медикаменты».

Итак, как вы видите, некоторый порядок, некоторая дисциплина, некоторая закономерность, проникающие всюду, даже внутрь тела больных. Они оказываются необходимы в двух целях.

Во-первых, они необходимы для самого формирования медицинского знания, поскольку без этой дисциплины, без этого порядка, без этого прескриптивного каркаса закономерностей невозможно точное наблюдение. Принцип медицинского взгляда, его нейтральность, его возможность подступа к своему объекту, короче говоря, само отношение объективности как конститутивный элемент медицинского знания и критерий его приемлемости требует как действительного условия своей возможности некоторого отношения порядка, некоторого распределения времени, пространства, индивидов. И даже, собственно говоря, не «индивидов» – к этому я еще вернусь, – скажем просто: распределения тел, жестов, поступков, речений. В этой упорядоченной дисперсии и обнаруживается поле, исходя из которого возможно то, что мы называли отношением медицинского взгляда к своему объекту, отношением объективности, – отношение, возникшее как следствие первичной дисперсии, вызванной дисциплинарным порядком. Во-вторых, этот дисциплинарный порядок, представленный в приведенном тексте Пинеля как условие точного наблюдения, является еще и условием устойчивого исцеления; то есть сама терапевтическая операция – превращение, в результате которого некто считаемый больным перестает быть больным, – может быть произведена исключительно в рамках упомянутого нами упорядоченного распределения власти. Таким образом, условие отношения к объекту и объективности медицинского знания, с одной стороны, и условие терапевтической операции, с другой, совпадают: речь идет о дисциплинарном порядке. Однако этот имманентный порядок, довлеющий в равной степени всему пространству лечебницы, на деле оказывается отмечен, весь целиком проникнут асимметрией: ведь он руководим, властно руководим уникальной инстанцией – внутренней инстанцией лечебницы и вместе с тем той точкой, исходя из которой и осуществляются дисциплинарные распределение и дисперсия времени, тел, жестов, поступков и т. д. Будучи внутренней для лечебницы, эта инстанция в то же время наделена некой неограниченной властью, которой ничто не может и не должно сопротивляться. Эта инстанция – неприступная, лишенная симметрии, лишенная противовеса и функционирующая как источник власти, ключевой для данного порядка асимметричный элемент, в силу которого этот порядок и является порядком, всегда вытекающим из одностороннего властного отношения, – очевидно, и есть инстанция медицинская, которая, как вы убедитесь, функционирует как власть задолго до того, как она начнет функционировать как знание.

И вот почему. Кто, собственно, такой этот врач? Врач – это тот, кто появляется, как только больной доставлен в лечебницу теми удивительными машинами, о которых я говорил вначале. Разумеется, приведенное выше описание – вымышленное в том смысле, что я сам составил его на основе нескольких текстов, принадлежащих разным психиатрам; будь их автором один-единственный психиатр, мое доказательство не работало бы. Я использовал «Трактат о бреде» Фодере, «Медико-философский трактат» Пинеля о мании, статьи Эскироля, вошедшие в его сборник «Душевные болезни», а также «Наблюдения над безумием» Хаслама.

Так как же выглядит эта инстанция асимметричной и неограниченной власти, которая пронизывает и, так сказать, одухотворяет собою универсальный порядок лечебницы? В «Трактате о бреде» Фодере, относящемся к 1817 году, ключевому моменту в протоистории психиатрии XIX века (напомню, что в 1818 году вышла и основополагающая работа Эскироля), когда психиатрическое знание включалось в сферу медицины и одновременно становилось самостоятельной специальностью, она описывается следующим образом: «Хорошие или, другими словами, благородные и мужественные физические данные являются, быть может, одним из важнейших условий преуспевания в нашей профессии; эти качества необходимы в работе с безумцами еще и для того, чтобы оказывать на них благотворное влияние. Темные или седые от возраста волосы, уверенный взгляд, величаявая осанка, дышащие силой и здоровьем конечно-

сти и грудная клетка, крупные черты лица, сильный и выразительный голос – эти формальные признаки обычно производят сильное впечатление на людей, уверенных в своем превосходстве над остальными. Конечно, телом руководит дух, но сам по себе он не виден и нуждается, чтобы увлечь за собой многих, во внешних проявлениях».

Таким образом, как видите, персонаж врача начинает функционировать с первого взгляда на него. Причем в этом первом взгляде, исходя из которого и завязывается психиатрическое отношение, врач есть по сути своей тело – или, точнее, некоторые физические данные, набор характеристик, тип, вполне определенная морфология, подразумевающая такую-то мышечную силу, ширину груди, цвет волос и т. д. И это физическое присутствие с его неизменными качествами, функционирующее как условие абсолютной асимметрии в регулярном порядке лечебницы, как раз и выступает причиной того, что лечебница не является, как бы сказали нам психосоциологи, институтом, работающим по своим правилам; лечебница – это поле, фактически поляризованное сущностной асимметрией власти, которая обретает свою форму, свою внешность, свое физическое воплощение в самом теле врача.

Однако эта власть врача – не единственная, разумеется, действующая здесь власть; в лечебнице, как и где бы то ни было, власть ни в коем случае не есть то, чем некто обладает или что исходит от кого-то. Власть не принадлежит ни кому-либо одному, ни даже группе; власть имеет место исключительно в меру наличия дисперсии, реле-передатчиков, сетей, системы взаимных опор, разностей потенциалов, подвижек и т. п. В этой системе различий, которую следует проанализировать, власть только и может начать функционировать.

Вот и вокруг врача мы находим целый ряд передатчиков, реле, главные из которых я перечислю.

Прежде всего, это надзиратели, которым Фодере поручает сбор информации о больных: надзиратели призваны быть невооруженным, необученным взглядом, своего рода оптическим каналом, которым будет пользоваться взгляд ученый, то есть объективный взгляд самого психиатра. Этот осуществляемый надзирателями промежуточный взгляд должен быть направлен и на санитаров – на тех, в чьих руках находится последнее звено власти. Надзиратель, таким образом, – это одновременно начальник нижайших начальников и тот, чья речь, чей взгляд, чьи наблюдения и сообщения должны обусловить формирование медицинского знания. Каковы же надзиратели? Какими они должны быть? «Желательно, чтобы надзиратель за умалишенными имел пропорциональное телосложение, здоровую и сильную мускулатуру, умел при необходимости действовать решительно и твердо, а голосом своим – приводить в трепет; кроме того, он должен быть совершенно порядочным и высоконравственным...»

Последний же уровень этой структуры – ряд передатчиков я оставляю за скобками – составляют санитары, наделенные весьма любопытной властью. В самом деле, санитар – последнее звено этой цепи, этой разности потенциалов, что пронизывает лечебницу, исходя от власти врача; таким образом, его власть – власть низшая. И низшая она не просто потому, что занимает последнюю ступень в этой иерархии, но также и потому, что должна быть ниже больного. Санитар находится в услужении не столько надзирателям, стоящим выше его, сколько самим больным; и в этой позиции служения больным он призван фактически не более чем изображать служение больным. Власть [санитаров] заключается в том, что они делают вид, что прислуживают больным, будто бы повинуются их требованиям, действительно помогают им, но таким образом, чтобы за поведением больных можно было наблюдать исподволь, снизу, на уровне этих выдвигаемых ими требований, в дополнение к наблюдению за ними сверху, силами надзирателей и врача. Санитары в некотором роде вертят больными, наблюдают за ними на обыденном уровне, глядя, так сказать, с внутренней стороны на волю, которую они изъявляют, на желания, которые они испытывают; и затем сообщают о своих наблюдениях надзирателю, который передает их врачу. Кроме того, именно санитар должен, когда больной требует чего-либо невыполнимого, отказать в удовлетворении его просьбы – продолжая притворяться, что

служит больному, повинуется ему и, следовательно, не имеет самостоятельной власти, – от имени высокой анонимной власти правил или же собственной воли врача. Окруженный наблюдением санитаров, больной в результате оказывается окружен волей врача, которой подчиняется как раз тогда, когда обращается с требованиями к санитару, и таким образом, через это пододбие услужения, обеспечивается его обложение волей врача или общими правилами лечебницы.

Вот описание этих санитаров, призванных опекать больных:

«[§ 398.] На должность санитаров или охранников нужно подбирать людей крупного сложения, сильных, порядочных, сообразительных, чистоплотных как по отношению к себе, так и по отношению к своей одежде. Чтобы удовлетворить обостренной чувствительности некоторых сумасшедших, особенно в том, что касается их самолюбия, санитары должны стараться почти всегда выглядеть в их глазах скорее слугами, нежели надзирателями <..>. Но поскольку санитарам всё же не следует подчиняться безумцам и даже зачастую следует их обуздывать, надзиратели должны осторожно убедить больных в том, что те, кто им прислуживает, – дабы те отвечали образу слуг, не повинуюсь, и притом избегали раздоров – получают от врачей определенные инструкции и указания, которые не вольны нарушать без особого разрешения».

Перед вами система власти, функционирующая внутри лечебницы и отклоняющаяся от общей уставной системы, – система власти, которая обеспечивается некоторой множественностью, дисперсией, целым комплексом различий и иерархий, а главное, тем, что можно назвать тактической диспозицией, в рамках которой различные индивиды занимают определенное для каждого из них место и выполняют ряд четко очерченных функций. Таким образом, мы обнаруживаем здесь тактическое функционирование власти, – вернее, тактическую диспозицию, которая и позволяет власти функционировать.

И если вы вспомните, что говорил о возможности осуществлять наблюдение в лечебнице Пинель, то заметите, что это наблюдение, предоставляющее психиатрическому дискурсу его объективность и истину, возможно не иначе как посредством относительно сложного тактического распределения – я говорю «относительно сложного», поскольку сказанное о нем только что еще довольно-таки схематично. Но если эта тактическая расстановка действительно имеет место, если нужно принимать все эти предосторожности, чтобы в конце концов добиться всего-навсего наблюдения, значит, по всей вероятности, в этом уставном поле лечебницы присутствует некая опасность, некая сила. Если развертывание власти требует таких ухищрений или, точнее говоря, если этот регулируемый уставом мир так одержим реле, передатчиками власти, которые эту власть подменяют и модифицируют, то, выходит, в самой сердцевине этого пространства есть некая другая, угрожающая власть, которую нужно покорить или подавить.

Иначе говоря, описанная тактическая диспозиция возникает потому, что проблема, еще не будучи проблемой познания, проблемой истины болезни и ее лечения – а точнее, как раз чтобы стать таковой, – должна перед этим стать проблемой победы. Поле боя – вот что на деле организуется в этой лечебнице.

А покорить нужно, разумеется, безумца. Я только что приводил вам странноватое определение, данное безумцу Фодере, который называет так того, кто считает себя «выше всех остальных». Между тем именно таким безумец возникает в психиатрических дискурсе и практике начала XIX века, когда мы и отмечаем тот ключевой поворот, тот сдвиг, о котором я уже говорил, а именно отказ от критерия заблуждения в определении, установлении безумия.

Приблизительно до конца XVIII века – и это подтверждается всем, вплоть до полицейских рапортов, королевских указов, протоколов допросов и т. п., которые могли [относиться¹¹] к пациентам таких лечебниц, как Бисетр или Шарантон, – сказать, что некто безумен, установить его безумие, означало сказать, что он заблуждается, в чем, до какой степени, каким

¹¹ В магнитной записи лекции: «делаться». – Здесь и далее под астерисками даются примечания французских издателей, кроме особо оговоренных случаев.

образом и насколько он заблуждается; безумие характеризовалось, в сущности, системой убежденности. И вдруг в начале XIX века возникает совершенно другой критерий определения и установления безумия – я бы назвал его «воля», но нет, это неточно; тем, что характеризует безумца, тем, на основании чего устанавливают безумие с начала XIX века, является, скажем так, восстание силы в том смысле, что в безумце срывается с цепи некая сила – сила непокорная и, быть может, неукротимая, которая принимает четыре основных обличья в зависимости от области, к которой она прилагается, и от поля, в котором она производит свои опустошения.

Есть простая физическая сила индивида, которого в обыденной терминологии называют «буйным».

Есть другая сила, измеряемая степенью ее приложения к инстинктам и страстям, – сила разнужданных инстинктов, сила ничем не сдерживаемых страстей; с помощью двух этих сил и характеризуют отныне безумие, не основанное на заблуждении, – безумие, которое не предполагает никакого помрачения чувств, никакой ложной убежденности, никаких галлюцинаций и которое именуют манией без бреда.

Кроме того, есть сила безумия, затрагивающая сами мысли, которые приходят в расстройство, становятся бессвязными, наскакивают одна на другую. Такое безумие именуют манией.

И наконец, есть еще одна сила безумия, прилагающаяся уже не к мыслям вообще, которые вот так путаются и противостоят, а к одной конкретной идее, которая в результате разрастается и упрямо вторгается в поведение, речь, разум больного; безумие такого рода называют меланхолией или мономанией.

Первая же великая регламентация больничной практики в начале XIX века неукоснительно отображает то, что происходит непосредственно внутри лечебницы, а именно тот факт, что задачей становится уже не распознавание заблуждения безумца, а как можно более точная локализация места, в котором иступленная сила безумия поднимает свое восстание: какова та точка, какова та область, в которой сила выходит из-под контроля и заявляет о себе, до основания потрясая всё поведение индивида?

Таким образом, тактика лечебницы в целом и, на более частном уровне, индивидуальная тактика, применяемая врачом к тому или иному больному в общих рамках описываемой системы власти, оказывается привязана, должна теперь быть привязана к характеристике, к локализации области приложения этого выброса силы, срывающейся с цепи. А если цель больничной тактики такова, если ее адресат – иступленная и неконтролируемая сила безумия, то в чем, если не в ее укрощении, может заключаться исцеление? Так мы подходим к выдвинутому Пинелем простому – но, как мне кажется, при всей своей простоте фундаментальному – определению психиатрической терапии, которого прежде, каким бы ни выглядело оно безыскусным и варварским, вы не найдете. Терапия безумия – это «искусство, скажем так, подчинять и обуздывать сумасшедшего, помещая его в ситуацию строгой зависимости от человека, который по своим физическим и духовным качествам способен оказать на него непреодолимое воздействие и изменить порочную цепь его мыслей».

В этом определении терапевтической – психиатрической – деятельности, которое дал Пинель, всё то, что я вам говорил, повторяется, я бы сказал, в диагональном виде. Прежде всего – принцип строгой зависимости больного от некоторой власти; эту власть может воплощать исключительно человек, причем человек, исполняющий ее не столько в силу и на основе определенного знания, сколько в силу физических и духовных качеств, позволяющих ему оказывать беспредельное, то есть непреодолимое, воздействие. Исходя из этого и становится возможным изменение порочной цепи мыслей – эта психологическая или, если хотите, душевная ортопедия, которая и может обусловить излечение. Поэтому, собственно, в рамках психиатрической протопрактики и возникает в качестве основополагающего терапевтического действия инсценировка – точнее, сцена поединка.

В психиатрии этой эпохи вы найдете два четко различающихся типа вмешательства. Первый из них на протяжении первой трети XIX века постоянно и весьма последовательно развивается: это собственно медицинское, медикаментозное лечение. И наоборот, активно развивается второй – практика, называемая «нравственным лечением», которая была введена англичанами, прежде всего Хасламом, и очень быстро распространилась во Франции.

Это «нравственное лечение» вовсе не является, как можно было бы предположить, неким долговременным процессом, имеющим главнейшей и конечной целью выявить истину болезни – суметь наблюдать, описывать, диагностировать ее и, таким образом, определять характер ее терапии. Нет, терапевтическая деятельность, формулируемая в 1810–1830-е годы, представляет собой сцену, сцену столкновения. Эта сцена столкновения может принимать два различных облика. Первый из них и, если угодно, неполный – это своеобразный измор, пытка, совершаемая не врачом – ведь врач должен всегда оставаться господином, – а надзирателем.

Таков первый набросок больничной сцены, и вот соответствующий пример из «Медико-философского трактата» Пинеля.

Имея дело с буйным умалишенным, надзиратель «приближается к нему бесстрашно, но медленно, постепенно и, дабы не привести больного в ярость, без каких-либо орудий в руках; подходя всё ближе, он говорит с больным самым твердым и повелительным тоном, продуманными репликами стараясь захватить всё его внимание и полностью отвлечь его от происходящего вокруг. Звучат четкие и властные приказания подчиниться и сдаться: больной, будучи несколько обескуражен невозмутимостью надзирателя, теряет из виду всё остальное и по условленному сигналу оказывается схвачен санитарями, которые не спеша, исподволь подступили к нему вплотную; каждый из них блокирует одну из конечностей больного, один – руку, другой – бедро или ногу».

В качестве дополнения Пинель советует использовать ряд инструментов, в частности длинный стержень с «металлическим полукругом» на конце: когда больной окажется поглощен бесстрашными действиями надзирателя, будет смотреть только на него, не видя ничего более, в его сторону следует направить это подобие копья с железным наконечником и прижать его к стене, словно бы в знак победы. Такова несовершенная, я бы сказал, сцена, доверяемая надзирателю и заключающаяся в обуздании неконтролируемой силы больного путем изощренного и внезапного насилия.

Однако понятно, что главная сцена лечения не такова. Сцена лечения – это сложная сцена. Приведу еще один пример из «Медико-философского трактата» Пинеля. Речь идет о молодом человеке, который находился «во власти религиозных предрассудков» и рассчитывал заслужить спасение, «подражая воздержанию и самоистязанию древних отшельников», то есть отказываясь не только от всех телесных удовольствий, но также и от пищи. И вот однажды он более твердо, чем обычно, отказывается есть принесенный ему суп. «Тем вечером гражданин Пюссен стоял у входа в свою палату в позе утешения [имеется в виду, конечно, „поза“ в смысле классического театра. – М. Ф.], глядя перед собой разъяренным взглядом и то и дело истошно крича; санитары, сгрудившись вокруг него, с грохотом потрясали железными цепями. Больному принесли суп и с предельной твердостью предложили съесть его до утра, пригрозив в противном случае наказать его самым жестким образом; затем служители удалились, и Пюссен был оставлен в угнетенном состоянии, мечущимся между двумя тяжелыми мыслями – о предстоящем наутро наказании и об ужасающей перспективе загробных мук. После нескольких часов внутренних борений первая мысль пересилила и он решил принять пищу. В связи с этим режим его содержания был смягчен и направлен на восстановление здоровья; к нему постепенно вернулся сон, пришли силы, он вновь обрел разум и таким образом избежал верной смерти. Находясь на пути к выздоровлению, он часто рассказывал мне о своих жесточайших мучениях и растерянности в ту ночь, когда ему суждено было это испытание». Описанная здесь сцена кажется мне в своей общей морфологии исключительно важной.

Во-первых, как вы видите, терапевтическая операция заключается вовсе не в распознавании врачом природы болезни, ее причин, ее характера. Чтобы эта операция увенчалась успехом, врач не нуждается ни в какой диагностической или нозографической работе, ни в каком истинностном дискурсе.

Во-вторых, эта операция важна потому, что в данном случае и во всех ему подобных нельзя сказать, что к чему-то, рассматриваемому как патологический процесс или патологическое поведение, применяется некий технический медицинский подход; происходит другое: сталкиваются две воли – с одной стороны, воля врача и того, кто действует от имени врача, и, с другой стороны, воля больного. Следовательно, речь идет о поединке, конфликте, о некотором соизмерении сил.

В-третьих, это соизмерение сил продуцирует – таково его первостепенное следствие – второе соизмерение сил, так сказать, внутри самого больного: возбуждается конфликт между непреодолимой идеей, к которой привязан больной, и страхом наказания. Один поединок вызывает другой. И оба поединка, в том случае, если сцена удалась, должны приводить к победе – к победе одной идеи над другой и одновременно воли врача над волей больного.

В-четвертых, очень важен в этой сцене момент выяснения истины. Это момент, когда больной признаёт, что его убежденность в необходимости голодать ради своего спасения была ошибочной, бредовой, когда он осознаёт суть происшедшего, когда он понимает, что прошел через цепь сомнений, колебаний, терзаний и т. п. Другими словами, сам рассказ больного конституирует в рамках этой сцены, где до сих пор истина не имела места, момент, когда истина обнаруживается.

И в-пятых, когда истина наконец обретена, причем обретена не через выяснение некоего медицинского факта, а через признание, в этот-то действительный момент признания и совершается, осуществляется и удостоверяется процесс исцеления.

Таким образом, перед нами система распределения силы, власти, события, истины, ни в коей мере не похожая на ту, что можно было бы обнаружить в рамках модели, которая складывалась в эту же самую эпоху в клинической медицине и поэтому может быть названа медицинской. В клинической медицине этого времени складывалась эпистемологическая модель медицинской истины, наблюдения, объективности, которая должна была позволить медицине надежно встроиться в область научного дискурса и присоединиться там со своими собственными модальностями к физиологии, биологии и т. д. В этот период, в 1800–1830-е годы, происходит, на мой взгляд, нечто другое, нежели принято думать. Обычно, по-моему, события этих тридцати лет считают периодом, когда психиатрия наконец включается в сферу медицинских знания и практики, которым до этого оставалась относительно чуждой. Принято думать, что в это время психиатрия впервые выступает как одна из специальностей медицины.

Мне кажется – если не поднимать пока вопроса о том, почему практика, подобная вышеописанной, могла рассматриваться в качестве медицинской, почему люди, которые совершали все эти действия, с необходимостью считались врачами, – что у тех, кого можно считать основоположниками психиатрии, медицинские действия, которые они совершали в процессе лечения, не имели в своей морфологии, в своем общем распорядке практически ничего общего с тем, что в этот же период формировалось как опыт, наблюдение, диагностическая деятельность, терапевтический процесс медицины. Это событие, эта описанная мною сцена, эта процедура – всё это, как мне кажется, в период, о котором идет речь, на уровне, о котором мы говорим, абсолютно инородно тому, что в те же годы происходит в медицине.

Причем эта инородность характеризует историю психиатрии в тот самый момент, когда она обосновывается внутри системы институтов, связывающих ее с медициной. Ведь описанная мной сцена, режиссура, организация пространства лечебницы, запуск и ход описанных инсценировок – всё это было возможно, приемлемо и институционализируемо исключительно

внутри учреждений, как раз в эту эпоху получавших медицинский статус, и со стороны людей медицинской квалификации.

* * *

Таков, если угодно, первый комплекс проблем. Отсюда начинается то, что мне хотелось бы вкратце исследовать в этом году. Приблизительно в этом пункте завершилась или, во всяком случае, была прервана работа, предпринятая мною ранее в «Истории безумия». И с этого пункта я хотел бы начать теперь, но с некоторыми оговорками. Мне кажется, что в «Истории безумия» – книге, которой я буду пользоваться как предметом сравнения, поскольку она выступает для меня своего рода «фоном» работы, предпринимаемой сейчас, – есть ряд моментов, заслуживающих критики, особенно в последней главе, где я как раз и останавливаюсь на больничной власти.

Во-первых, я думаю, что в конечном счете ограничился там анализом представлений. Мне кажется, я попытался изучить по преимуществу образ безумия, складывавшийся в XVII и XVIII веках, страх, который оно вызывало, знание, составлявшееся по его поводу – либо в традиционном русле, либо по модели ботаники, естествознания, медицины и т. д. Именно этот узел представлений, образов, фантазий, знаний, традиционных или нетрадиционных, я выбрал в качестве исходной точки, в качестве места, в котором берут начало практики, распространившиеся применительно к безумию в XVII и XVIII веках. Короче говоря, в «Истории безумия» я рассматривал главным образом то, что можно назвать восприятием безумия.

Но там же, во второй части, я также попытался понять, нельзя ли провести радикально отличный анализ, нельзя ли взять в качестве отправной точки исследования уже не этот узел представлений, неизбежно отсылающий к истории умозрений, позиций – к истории мысли, – а определенный диспозитив власти. Иначе говоря, в какой мере определенный диспозитив власти может быть продуцентом ряда высказываний, дискурсов и, следовательно, всевозможных представлений, которые затем могут <..¹²> оказаться его следствиями?

Диспозитив власти как инстанция – продуцент дискурсивной практики. Вот в связи с чем дискурсивный анализ власти мог бы выйти по отношению к тому, что я называю археологией, – не на «фундаментальный» уровень, это слово не очень мне нравится, – но на уровень, который позволил бы рассмотреть дискурсивную практику там, где она формируется. Само формирование дискурсивной практики: с чем его соотносить, где его искать?

Думаю, нельзя миновать стадию рассмотрения таких вещей, как представления, субъект и т. п., а вместе с ними и неких уже сложившихся психологии и философии, если мы ищем связь между дискурсивной практикой и, скажем так, экономическими структурами, производственными отношениями и т. п. Проблема состоит для меня вот в чем: не являются ли, по существу, именно диспозитивы власти – с учетом того таинственного и еще не исследованного, что содержится в слове «власть», – той самой точкой, к которой следует возводить формирование дискурсивных практик? Каким образом определенное устройство власти, определенные тактики и стратегии власти могут вызвать к жизни утверждения, отрицания, опыты, эксперименты, теории – целую игру истины? Диспозитив власти и игра истины, диспозитив власти и дискурс истины: вот что приблизительно я хотел бы изучить в этом году, начав, как я уже сказал, с психиатра и безумия.

Во-вторых, я бы оспорил теперь свое решение опереться в последней главе «Истории безумия» – хотя и не могу сказать, что сделал это вполне осознанно, поскольку ничего не знал тогда об антипсихиатрии и, главное, о психосоциологии, – опереться скрыто или явно на три

¹² В магнитной записи лекции: «сформироваться на его основе и».

понятия, которые теперь мне кажутся ржавыми замками или, вернее, засовами, которые так просто не минуешь.

Прежде всего, это понятие насилия. Что меня действительно поражало, когда я читал в ту пору Пинеля, Эскироля и т. д., так это то, что, вопреки рассказам их биографов, они – Пинель, Эскироль и другие – активно прибегали к физической силе. А потому нельзя, думал я тогда, связывать реформу Пинеля с каким-либо гуманизмом, ведь вся его практика оставалась пронизана насилием.

И правда, реформу Пинеля нельзя считать гуманистической, но, как мне теперь кажется, не потому, что он прибегал к насилию. Ведь когда говорят о насилии – потому-то это понятие мне и не нравится, – неизменно имеют в виду нечто связанное, как бы в подтексте, с физической властью, с властью неумеренной, безрассудной, я бы даже сказал сорвавшейся с цепи. И это понятие кажется мне опасным как раз потому, что позволяет предположить, рисуя образ физической, неумеренной и т. п. власти, что хорошая власть – это просто власть, та, что не сопряжена с насилием, та, что не является властью физической. Но, по-моему, наоборот, главное в любой власти – то, что точкой ее приложения всегда в конечном счете является тело. Всякая власть – физическая, и телом с политической властью сцеплены напрямую.

Кроме того, понятие насилия кажется мне теперь неудовлетворительным, поскольку оно позволяет допустить, что физическое применение некой неумеренной силы не может быть частью рациональной, рассчитанной, продуманной игры отправления власти. Тогда как примеры, которые я вам только что привел, очевидным образом показывают, что власть, исполняющаяся в лечебнице, – это педантичная, расчетливая власть с четко определенными тактиками и стратегиями, внутри которых ясно прослеживаются место и роль, отведенные насилию, если называть насилием физическое применение абсолютно безудержной силы. В своих мельчайших сплетениях, на капиллярном уровне, там, где она непосредственно касается индивида, власть является физической и тем самым насильственной – в том смысле, что такова ее регулярность, а вовсе не срыв, что так она повинуетя всем диспозициям своего рода микрофизики тел.

Второе понятие, к которому я прибегал, как мне кажется, не слишком удачно, – это понятие института. Я считал возможным говорить, что с начала XIX века психиатрическое знание стало приобретать известные нам формы и масштабы в связке с тем, что можно было бы назвать институционализацией психиатрии, а точнее – с рядом институтов, самым важным среди которых была лечебница. Теперь понятие института не кажется мне подходящим. По-моему, оно представляет ряд опасностей, ведь, как только мы заговариваем об институте, речь, по сути, сразу заходит об индивидах и о коллективе, мы уже берем индивида, коллектив и правила, которые ими руководят, и погружаем в эту среду все психологические или социологические дискурсы¹³.

Но вообще-то следует заметить, что главное здесь – не институт с его регулярностью, с его правилами, а скорее как раз эти выпады власти, которые, как я попытался показать, подрывают регулярность лечебницы и в то же время приводят ее в действие. Важны, иными словами, не столько институциональные закономерности, сколько, и в куда большей степени, диспозиции власти, сети, токи, реле, опорные точки и разности потенциалов, характеризующие ту или иную форму власти и, я думаю, конститутивные и для индивида, и для коллектива.

Индивид, как мне кажется, есть не что иное, как эффект власти, поскольку власть есть процедура индивидуализации. Именно на основе этой сети власти – сети, функционирующей через разности потенциалов и сдвиги, – и возникает нечто, именуемое индивидом, а также группой, коллективом, институтом. Иначе говоря, прежде институтов следует рассматривать

¹³ В подготовительной рукописи добавлено: «Институт нейтрализует силовые отношения или позволяет им действовать лишь в отведенном пространстве».

силовые отношения в рамках тех тактических диспозиций, которые пронизывают собой эти институты.

И наконец, третьим понятием, которым я пользовался, чтобы объяснить функционирование лечебницы в начале XIX века, было понятие семьи, и, грубо говоря, я пытался показать, каким образом насилие Пинеля [или] Эскироля вводило в больничный институт семейную модель. Но теперь мне кажется, что слово «насилие» здесь не подходит, что слово «институт» тоже не соответствует тому уровню анализа, на который следует взойти, и что таким же образом здесь не следует говорить о семье. Во всяком случае, перечитывая Пинеля, Эскироля, Фодере, Хаслама и других, я убедился в том, что они очень редко обращаются к семейной модели. Неправда, что врач попытался воссоздать в пространстве лечебницы образ или персонаж отца; это произошло намного позднее, я думаю, даже в самом конце того процесса, который можно назвать психиатрическим эпизодом в истории медицины, то есть только в XX веке.

Здесь важны не семья и не государственный аппарат; неверно, думаю, и говорить, как это часто делается, что больничная практика, психиатрическая власть воспроизводят семью с целью или по запросу некоего контроля свыше, организуемого и осуществляемого государственным аппаратом. Государственный аппарат не может служить основанием¹⁴, а семья не может служить моделью <..¹⁵> в рамках отношений власти, обнаруживаемых внутри психиатрической практики.

Задача, стоящая перед нами, заключается, на мой взгляд, в том, чтобы, уйдя от этих понятий и моделей, уйдя от семейной модели, от нормы, от государственного аппарата, от понятия института, от понятия насилия, подвергнуть анализу отношения власти, которые действуют в рамках психиатрической практики как продуценты – это-то и будет предметом нынешнего курса – ряда высказываний, преподносящихся как законные высказывания. Я бы хотел говорить не о насилии, а скорее о микрофизике власти; вместо разговора об институтах я попытался бы выяснить, какие тактики применяют эти сталкивающиеся друг с другом силы; вместо разговора о семейной модели или о «государственном аппарате» я попытался бы понять стратегию тех властных отношений и столкновений, что разворачиваются в рамках психиатрической практики.

Вы скажете мне: ну и что? Далеко ли я продвинулся, отказавшись от насилия в пользу микрофизики власти, от института – в пользу тактики, от семейной модели – в пользу стратегии? Я отказался от терминов, позволяющих ввести во все эти анализы психосоциологический словарь, и взамен получил какой-то полувоенный лексикон, едва ли, как кажется, более престижный. Однако посмотрим, что может из этого получиться¹⁶. Лекция 14 ноября 1973 года

Сцена исцеления: Георг III. От «макрофизики суверенитета» к дисциплинарной «микрофизике власти». – Новая фигура безумца. – Краткая энциклопедия сцен исцеления. – Практика гипноза и истерия. – Психоаналитическая сцена; антипсихиатрическая сцена. – Мэри Барнс в Кингсли-холле. – Обращение с безумием и стратегия истины: Мейсон Кокс.

Вы все, конечно же, знаете, что считается великой основополагающей сценой современной психиатрии – да, собственно, психиатрии вообще, – возникшей в начале XIX века. Это знаменитая сцена, когда Пинель – в Бисетре, который еще не был в точном смысле слова больницей, – отменил цепи, сковывавшие буйных душевнобольных в их камерах, после чего эти

¹⁴ В подготовительной рукописи уточняется: «Понятие государственного аппарата не годится, ибо оно слишком широко, слишком абстрактно, чтобы обозначать эти прямые, мельчайшие, капиллярные власти, действующие на тело, поведение, жесты и время индивидов. Государственный аппарат не учитывает эту микрофизику власти».

¹⁵ В магнитной записи лекции: «для происходящего».

¹⁶ В подготовительной рукописи (л. 11–23) М. Фуко переходит к вопросу о том, в чем заключается проблема современной психиатрии, и предлагает разбор антипсихиатрии, в частности в сравнении с психоанализом:

безумцы, которых до этого лишали свободы передвижения из опасения, что они предадутся своему буйству, едва освободившись от уз, выразили Пинелю признательность и тем самым ступили на путь исцеления. Вот что считается первичной, основополагающей, начальной сценой психиатрии.

Но была и другая сцена, которой выпала куда меньшая слава, хотя в свое время она и вызвала по вполне понятным причинам сильный ажиотаж. Это сцена, происшедшая не во Франции, а в Англии, с некоторыми изменениями описанная тем же Пинелем в его «Медико-философском трактате» (IX [1800] год) и, как вы убедитесь, отнюдь не лишенная своеобразной силы, пластической выразительности, в связи с тем, что – пусть не именно в тот момент, когда она имела место (1788), но когда она стала известна во Франции, а затем и во всей Европе, – среди царственных особ, скажем так, вошло в привычку терять рассудок. Эта сцена важна, так как она проливает свет как раз на то, чем стала с этого времени психиатрическая практика как согласованное и упорядоченное применение властных отношений.

Вот тот самый текст Пинеля, который имел хождение во Франции и познакомил с этой историей французов:

«Один монарх [Георг III, король Англии. – М. Ф.] впадает в манию, и, дабы способствовать его скорейшему и как можно более стойкому излечению, руководящему им лицу [обратите внимание на эти слова: речь идет о лечащем враче. – М. Ф.] доверяют принять все меры предосторожности без каких-либо ограничений. Весь аппарат королевской власти остается в стороне, и душевнобольной, отлученный от своей семьи и ближайшего окружения, удаляется в изолированный дворец и помещается в одиночную палату, пол и стены которой с целью обезопасить его от членовредительства устланы матрасами. Руководящий лечением объявляет ему, что он более не является королем и должен отныне выказывать смирение и покорность. Двум его прежним пажам исполнинского сложения поручается удовлетворять его потребности и оказывать всю обусловленную его состоянием помощь, но вместе с тем и внушать ему, что он полностью от них зависит и должен отныне им подчиняться. Храня рядом с больным спокойное молчание, пажи всякий раз, когда это необходимо, демонстрируют свое превосходство над ним. Однажды, находясь в состоянии исступленного бреда, больной очень сурово принимает своего старого врача, явившегося к нему с визитом, пачкая того отбросами и нечистотами. Один из пажей тут же, не произнося ни слова, входит в камеру, связывает безумца, дошедшего до омерзительного убожества, поясом, с силой швыряет его на матрас, раздевает, моет губкой его тело, меняет одежду, свысока осматривает его, после чего возвращается на свой пост. Подобные уроки, регулярно повторявшиеся на протяжении нескольких месяцев и дополненные другими лечебными мерами, привели к стойкому и необратимому выздоровлению».

Я кратко проанализирую элементы этой сцены. Прежде всего, в тексте Пинеля, как мне кажется, есть нечто очень важное, что его автор позаимствовал у Уиллиса, который был личным врачом Георга III. Первое, по-моему, что здесь бросается в глаза, – это церемония, церемония низложения, своего рода коронация наоборот, в связи с которой недвусмысленно говорится, что короля нужно привести в полное подчинение. Вы помните эти слова: «...весь аппарат королевской власти остается в стороне», – и врач, являющийся в некотором роде оператором этого низложения, этой десакрализации, прямо объявляет королю о том, что «он более не король».

Таким образом, перед нами декрет о низложении: короля лишают власти. Мне даже кажется, что эти «матрасы», которые его окружают и выполняют [столь значительную] роль и во всей системе декораций, и в финальной сцене, в самом деле важны. Матрас – это еще и то, что изолирует короля от окружающего мира, мешает ему как слышать и видеть что-либо за пределами своей палаты, так и передавать туда свои распоряжения; иначе говоря, посредством матрасов все ключевые функции монархии оказываются в прямом смысле слова заключены в скобки. Вместо скипетра, короны, меча, которые должны были демонстрировать и внушать

всем, кто только их видит, идею абсолютного могущества короля, правящего своим королевством, – вместо этих знаков теперь есть одни «матрасы», которые его блокируют и сводят там, где он находится, к тому, что он есть, к его телу.

Итак, низложение, ниспровержение короля. Не похоже, однако, чтобы это было низложение того же типа, как, например, в шекспировских трагедиях: здесь перед нами не Ричард III, которому грозит своей мощью другой властитель, и не король Лир, лишенный власти и скитающийся по свету в одиночестве, нищете и безумии. Безумие короля [Георга III], в отличие от безумия короля Лира, которое заставляло того скитаться по свету, напротив изолирует его в определенном месте и, главное, подчиняет власти, не являющейся властью другого короля; оно подчиняет короля власти совершенно иного типа, нежели монарший суверенитет, и даже, как мне кажется, полностью, почленно, ей противоположной. Это анонимная, безымянная власть, власть без лица, распределенная между различными людьми; это власть, выражающаяся, что особенно важно, в неумолимости некоторого предписания, которое даже не формулируется, ведь ничего, в сущности, не говорится, и в тексте Пинеля прямо сказано, что все исполнители власти молчат. Безмолвное предписание – вот что в некотором смысле занимает место, оставшееся пустым с низложением короля.

Следовательно, речь идет не о свержении одной суверенной власти другой суверенной властью, а о переходе от суверенной власти, обезглавленной безумием, которое овладело головой короля, и лишенной короны путем своеобразной церемонии, призванной объявить королю, что он более не является властителем, к власти иного типа. Место этой обезглавленной и лишенной короны власти занимает власть анонимная, множественная, тусклая, бесцветная, которую я буду называть властью дисциплины. Власть-суверенитет сменяется властью-дисциплиной, чье действие заключается вовсе не в утверждении власти отдельного человека, не в концентрации власти в зримом и имеющем имя индивиде, а, наоборот, в действии на него самого, на тело и личность низложенного короля, который должен быть приведен этой новой властью к «смирению и покорности».

Если власть-суверенитет выражается главным образом в символах экстраординарной силы обладающего ею индивида, то дисциплинарная власть скромна и разделена между многими; это власть, функционирующая посредством сети и обретающая видимость исключительно в смирении и покорности тех, на кого она безмолвно действует. В этом-то, на мой взгляд, и заключается суть описанной сцены: в столкновении и сочленении власти-суверенитета и дисциплинарной власти, в подчинении себе второй властью первой.

Кто же исполнители этой дисциплинарной власти? Как вы видите, врач, тот, кто всё это организует, тот, кто является в известной степени узловым элементом, ядром дисциплинарной системы, сам, как ни удивительно, даже не появляется: Уиллиса всегда нет. И когда уже под конец возникает сцена с врачом, речь идет именно о старом враче короля, а не об Уиллисе. Кто же тогда исполнители власти? Это, как сказано у Пинеля, два королевских пажа исполинской стати.

И здесь, как мне кажется, нужно ненадолго остановиться, так как эти пажи играют во всей описываемой сцене очень важную роль. В качестве гипотезы, возможно ошибочной, скажу, что это отношение пажей-испоинов и безумного, раздетого короля нужно сравнить с некоторыми иконографическими типами. Пластическая выразительность этой истории отчасти связана, на мой взгляд, именно с тем, что в ней есть элементы <..¹⁷> традиционной иконографии изображений королей. А короли и их слуги традиционно изображались согласно двум типам.

Первый тип – это король-воин, в доспехе, с оружием, король, зримо демонстрирующий свое всеисилие, если угодно – король-геркулес, возле которого, ниже которого располагаются попираемые этим подавляющим могуществом персонажи, чья роль состоит в выраже-

¹⁷ В магнитной записи лекции: входящие в состав.

нии покорности, слабости, поражения, рабства, иногда – красоты. Такова, если угодно, первая оппозиция, обнаруживаемая в иконографии королевской власти.

А вот второй иконографический тип, тоже подразумевающий игру оппозиций, но другого рода. На сей раз это не король-исполин, а король человеческой стати, в отличие от первого лишенный всех видимых и однозначных признаков физической силы и облеченный лишь символами своей власти. Это король в горностаевой мантии, со скипетром, державой, рядом с которым или опять-таки ниже – зримое представление той силы, которой он располагает: солдаты, пажи, слуги, представляющие силу, но такого рода силу, которой король распоряжается безмолвно, через эти символические элементы власти – скипетр, мантию, корону и т. д. По-моему, в основном именно так изображалось отношение короля к слугам – всегда через оппозицию и в виде одной из двух этих оппозиций.

В нашем случае в этой сцене, которую приводит, основываясь на Уиллисе, Пинель, мы находим те же самые элементы, но – смещенными и трансформированными. Вот грубая сила короля, который превратился в человекоподобное животное и оказался в положении покорных и скованных рабов из первой приведенной мной иконографической версии, а вот рядом с ним – сдержанная, дисциплинированная, спокойная сила слуг. В этой оппозиции одичавшего короля и слуг, зримо представляющих силу, но силу дисциплинированную, заключена, по-моему, завязь перехода от постепенно исчезающей власти-суверенитета к дисциплинарной власти, которая постепенно складывается и находит в этих молчаливых, мускулистых, статных, одновременно послушных и всемогущих пажах само, как мне кажется, свое лицо.

Как же эти слуги-исполины выполняют свои функции? Нужно вновь внимательно вчитаться в текст Пинеля. В нем сказано, что задачей слуг является помощь королю, а именно – что они должны удовлетворять его «потребности», учитывая его «положение». И, мне кажется, в рамках того, что можно назвать властью-суверенитетом, слуга как раз и должен исполнять потребности суверена, удовлетворять требования и нужды, обусловленные его положением: он одевает и раздевает короля, он ухаживает за его телом, содержит его в чистоте и т. д. Но когда слуга исполняет таким образом потребности суверена, учитывая его положение, он делает это всякий раз потому, что такова воля суверена; то есть воля суверена обязывает слугу, причем обязывает его индивидуально – поскольку он конкретный слуга, – к этой функции исполнения потребностей, обусловленных положением. Воля короля, статус короля – вот что привязывает слугу к его потребностям и положению.

В рамках же отношения дисциплины, которое заявляет о себе теперь, слуга состоит на службе уже не у воли короля, он исполняет потребности короля уже не потому, что такова королевская воля. Он исполняет эти потребности, обусловленные положением короля, без всякого участия воли и статуса последнего; лишь механические в каком-то смысле потребности тела устанавливают и определяют то, что должно быть службой слуги. Таким образом, происходит отделение потребности от воли, положения от статуса. И слуга выступает в качестве репрессивной силы, оставляет свою службу, чтобы обуздать волю короля, только тогда, когда эта воля выходит за рамки потребностей короля, превосходит его положение.

Таковы в самом общем виде, если угодно, декорации сцены. И теперь я хотел бы перейти к важному эпизоду, происходящему на обставленной таким образом сцене, а именно к встрече короля с врачом: «Однажды, находясь в состоянии исступленного бреда, больной очень сурово принимает своего старого врача, явившегося с визитом, пачкая его отбросами и нечистотами. Один из пажей тут же, не произнося ни слова, входит в камеру, связывает безумца...»

После сцены отрешения, низложения – сцена отбросов, экскрементов, нечистот. Король уже не просто низложен, речь идет не просто о лишении его атрибутов власти, но о полной инверсии суверенитета. Единственная сила, оставшаяся у короля, – это его тело, опустившееся до животного состояния, и его единственное оружие – это отбросы его тела, именно с этим оружием он набрасывается на врача. Тем самым, я полагаю, король действительно выворачивает

вает свой суверенитет наизнанку: не только потому, что заменяет скипетр и меч нечистотами, но прежде всего потому, что совершает жест с четким историческим значением. Это жест бросания в кого-либо грязи и нечистот, в котором испокон веков выражалось восстание против властей.

Теперь существует целая традиция, согласно которой в экскрементах и нечистотах усматривают исключительно символ денег. Но вообще-то следовало бы предпринять самую серьезную политическую историю экскрементов и нечистот, политическую и вместе с тем медицинскую историю проблемы экскрементов и нечистот как таковых, без какой бы то ни было символизации: разумеется, они составляли экономическую проблему, медицинскую проблему, но также могли быть ставкой в политической борьбе, что вполне очевидно в XVII и особенно в XVIII веке. И Георг III прекрасно знал, что значит этот оскверняющий жест бросания грязи, нечистот и экскрементов в карету, в шелк и горностаевый мех королевских одежд, поскольку сам становился его жертвой.

Таким образом, функция суверенитета полностью переворачивается, поскольку король совершает повстанческий жест, свойственный даже не просто беднякам, а беднякам из бедняков. Крестьяне во время бунта использовали в качестве оружия свои орудия труда: косы, мотыги, вилы и т. д., ремесленники – тоже, и только нищие, у которых не было ничего, подбирали прямо на улице камни и экскременты и швыряли их в господ. Именно их роль и берет на себя король в этом поединке с медицинской властью, представитель которой входит в его комнату. Обезумевший и вывернутый наизнанку суверенитет восстает против серой дисциплины.

В этот момент и вступает в дело безмолвный, мускулистый, неумолимый паж, который связывает короля, укладывает его на матрас, раздевает, моет губкой и, «бросив надменный взгляд на него», как сказано в тексте, выходит. Здесь мы вновь сталкиваемся со смещением элементов сцены власти, которая на сей раз уже не относится к иконографическому типу коронации; перед нами, разумеется, эшафот, где разворачивается сцена казни. Но опять-таки с инверсией и смещением: если того, кто посягал на власть-суверенитет, забрасывал ее камнями и нечистотами, должны были бы, по английским законам, убить, повесить и разрубить на части, то дисциплина, действующая в обличье пажа, наоборот, умиряет короля, укладывает, раздевает и моет его, чтобы оставить его тело в чистоте и сохранности.

Вот что я хотел сказать вам об этой сцене, которая, как мне кажется, гораздо более, чем сцена освобождения Пинелем безумцев, характерна для практики, называемой мною протопсихиатрической, то есть для практики, развивающейся в последние годы XVIII и в два-три первых десятилетия XIX века, перед тем как в 1830–1840-е годы будет возведено институциональное здание психиатрической лечебницы (для Франции можно назвать более точную дату – 1838 год, когда вступил в силу закон о принудительном лечении и организации больших психиатрических больниц).

Эта сцена кажется мне важной. Прежде всего потому, что она позволяет исправить ошибку, допущенную мною в «Истории безумия». Как видите, речь в описанном случае вовсе не идет о предписании психиатрической практике семейной модели; нельзя сказать, что отец и мать, что отношения, характерные для структуры семьи, были заимствованы этой практикой и приложены к безумию и управлению, руководству душевнобольными. Связь с семьей возникнет в истории психиатрии, но это произойдет позднее, и, насколько я могу судить сейчас, момент прививки семейной модели к психиатрической практике следует искать в истории истерии.

Кроме того, лечение, о котором Пинель – с оптимизмом, который в свете последующих событий окажется необоснованным, – пишет, что оно «привело к стойкому и необратимому выздоровлению», осуществляется, как вы видите, без чего-либо, что можно было бы назвать описанием, анализом, диагнозом, истинным познанием того, что представляет собой болезнь

короля. Элемент истины тоже, как и семейная модель, возникнет в психиатрической практике позднее.

И наконец, я хотел бы подчеркнуть следующее: в описанной сцене вполне отчетливо заметна игра элементов, являющихся в самом строгом смысле элементами власти, – они приходят в движение, смещаются, переворачиваются и т. д., причем без всякого института. И мне опять-таки кажется, что институт не предваряет эти отношения власти. Иначе говоря, эти отношения власти не определяются институтом, не предписываются каким-либо истинностным дискурсом, не вдохновляются семейной моделью. Они действуют на наших глазах, почти, я бы сказал, обнаженными, в сцене, подобной той, которую я привел. Как раз поэтому она, как мне кажется, достаточно ясно выявляет фундамент отношений власти, образующих ядерный элемент психиатрической практики, на котором затем вырастут институциональные здания, возникнут истинностные дискурсы истины, будут привиты или заимствованы различные модели.

Пока же мы имеем дело с возникновением дисциплинарной власти, специфический извод которой заявляет здесь о себе, по-моему, с исключительной ясностью, хотя бы потому, что дисциплинарная власть вступает в данном случае в поединок с другой формой политической власти, которую я буду называть властью-суверенитетом. Иными словами, если исходные гипотезы, которыми я сейчас руководствуюсь, верны, то недостаточно сказать, что в психиатрической практике с самого начала имеет место нечто подобное политической власти; дело, по-моему, обстоит сложнее и будет усложняться чем дальше, тем больше. Но на время я попытаюсь дать схематичную картину. Мы имеем дело не с политической властью вообще, а с двумя совершенно различными типами власти, соответствующими двум разным системам, двум формам функционирования: это макрофизика суверенитета, какой она могла действовать в рамках постфеодального, доиндустриального правления, и микрофизика дисциплинарной власти, способ функционирования которой прослеживается в ряде представленных мной элементов и которая в этом моем примере опирается в некотором роде на разъединенные, разлаженные, разоблаченные детали власти-суверенитета.

Таким образом, отношение суверенитета преобразуется в дисциплинарную власть. И в самой сердцевине этого превращения мы видим своего рода главную мысль: «Если ты безумен, то будь ты хоть королем, больше ты им не будешь»; или иначе: «Будь ты хоть безумцем, королем тебе не быть». Король, в данном случае Георг III, мог излечиться в сцене Уиллиса или, если угодно, в рассказе Пинеля лишь при том условии, что его более не будут считать королем и он подчинится силе, не являющейся силой королевской власти. Положение «Ты не король» кажется мне центральным для протопсихиатрии, которую я пытаюсь проанализировать. И если вы обратитесь к текстам Декарта, где речь идет о сумасшедших, считающих себя королями, то заметите, что два приводимых Декартом примера безумия – это «считать себя королем» и «иметь стеклянное тело». А всё дело в том, что для Декарта и вообще <...¹⁸> для всех, кто затрагивал тему безумия до конца XVIII века, «считать себя королем» и верить, что «твое тело стеклянное», – одно и то же, два совершенно равноценных заблуждения, прямо противоречащих самым элементарным данным чувств. «Считать себя королем» или «верить, что у тебя стеклянное тело» – всего-навсего признаки безумия как заблуждения.

Теперь же, в протопсихиатрической практике, а следовательно, и во всех истинностных дискурсах, которые вырастут из нее впоследствии, «вера, что ты король» составляет, как мне кажется, подлинный секрет безумия. И если мы посмотрим на то, как в это время анализируют бред, иллюзии, галлюцинации и т. д., то выясним, что неважно, считает некто себя королем в том смысле, что содержание его бреда сводится к вере, будто он вершит королевскую власть, или наоборот, в том смысле, что он чувствует себя уничтоженным, посрамленным, пресле-

¹⁸ В магнитной записи лекции: «можно сказать».

дуемым или отторгаемым всеми прочими людьми. Для психиатров этой эпохи «считать себя королем» – значит навязывать эту убежденность другим, отвергать всякие возражения, даже со стороны медицинского знания, стремиться даже врача, а в конечном счете и всю лечебницу убедить, что ты король, то есть противопоставлять себя всем иным формам уверенности и знания. Считаете вы себя королем или, наоборот, отверженным, само стремление навязать эту убежденность всем окружающим, эта своеобразная тирания – вот что такое «считать себя королем», и именно в этом смысле всякое безумие есть разновидность веры, укорененной в убеждении, что ты властелин мира. Психиатры начала XIX века могли бы сказать, что быть безумным – значит заикнуться на идее власти. И, скажем, Жорже в своем трактате «О безумии» (1820) формулирует центральную проблему психиатрии так: «как разубедить» того, кто считает себя королем?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.